

אפרים באוה

Эфраим Баух

# Время бесов



*Апология в эпоху всеобщей гибели*

Книга-Сефер, 2018  
© Эфраим Баух, 2018

# Эфраим Баух

## Время бесов. Апология в эпоху всеобщей гибели

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=28264141](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28264141)*

*Время бесов. Апология в эпоху всеобщей гибели / Эфраим Баух: Книга-Сефер; Тель-Авив; 2018*

### Аннотация

Новую книгу эссе выдающегося мыслителя нашего времени Эфраима Бауха, составили эссе:

- Апология в эпоху всеобщей гибели
- Что позволено быку, не позволено Юпитеру
- Время бесов
- Летучий Голландец литературы
- Печать Каина.
- Веселие не только на Руси питие еси...
- Общечеловек, а не сверхчеловек
- Жизнь на кончике языка
- Напоминание и предупреждение

# Содержание

Апология в эпоху всеобщей гибели	7
Что позволено быку, не позволено Юпитеру	25
Жизнь на кончике языка	37
Конец ознакомительного фрагмента.	46

**Эфраим Баух**

**Время бесов. Апология  
в эпоху всеобщей гибели**

אפרים באוה



© Эфраим Баух, 2018

# **Апология в эпоху всеобщей гибели**

*Впав в безумие, Фридрих Ницше умирает на пороге двадцатого века, в 1900 году, внеся в мир дремлющий вирус «властвования над миром» своей книгой «Воля к власти», которая не дает покоя человечеству по сей день.*

*1933 год обозначил 19 столетий со дня распятия Христа и восхождения «Антихриста» (так называется последняя написанная Ницше книга) – Гитлера.*

*Нельзя сказать, что это не предчувствовали великие умы Европы – два еврея – Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд – и один немец – Мартин Хайдеггер, прочитавший в те годы целые циклы лекций и написавший статьи, которые были собраны им в книгу «Ницше».*

*В издательстве «Владимир Даль» в Санкт-Петербурге вышла в русском переводе эта книга в двух томах, как существенный вклад в мировую «Ницшеану». Вместе с комментариями и послесловием два тома насчитывают более тысячи страниц.*

## ***Победное шествие и крах.***

Начнем с того, что через Хайдеггера, толкующего Ницше, мы узнаем самого Хайдеггера. Это как мы смотрим в некий

бинокль. Только пока непонятно, кого мы видим в объективе и кого – если смотреть через объектив в окуляр – увеличенного Ницше и уменьшенного Хайдеггера, или – наоборот.

Толкование всегда – любопытство, соревнование, попытка увидеть себя глазами другого, особенно, если этот другой давно мёртв, непозволительно велик и, главное, не может ответить.

Ощущается зависть Хайдеггера к дьявольской раскованности Ницше, которой ему, Хайдеггеру, не дано. Но не оставляет желание погреться у этого обжигающего огня. При этом, Хайдеггер воздвигает безопасную дистанцию из частого накачивающих, усыпляюще гладких слов – в противовес резкой, ироничной, себя не щадящей, даже наслаждающейся этим издевательством над собой, насквозь пронизанной восклицаниями и вопрошанием, иногда скачущей в каком-то безумном танце, философской прозе Ницше.

Невероятно количество умственной энергии, которое Хайдеггер тратит на толкование Ницше, пытаясь проложить собственную «просеку» в дикорастущем массиве философии последнего, где с трудом протоптанная тропа тут же зарастает на глазах.

В книге «Иск Истории» я лишь коснулся роли Ницше и Хайдеггера в истории Европы последних веков. Ни Кант, ни Гегель, ни даже Шопенгауэр, от которого критически отталкивался Ницше, не вызывают такого живого интереса, как Ницше – феномен его личности и философии.

Слишком близко и нерасторжимо связан он с историей XX-го да и XXI-го начавшегося века, хотя умер в 1900 году – в преддверии XX-го, которому он напророчил тяжкую участь.

Двухтомник «Ницше» это, по сути, собрание лекций, читанных Мартином Хайдеггером в университете Фрейбурга – в – Брейсгау в течение пяти лет – с 1936 по 1940 годы, к которым примыкают статьи, написанные в 1940–1946.

Удивительнее всего, что этот, можно сказать, невероятный творческий подъем философа, считающего себя стоящим в цепи столпов великой немецкой философии – Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, – приходится на годы властвования Гитлера, победного начала развязанной фюрером Второй мировой войны и полного его краха.

Книга, которая лишь теперь переведена на русский язык, вышла в оригинале в 1961 году в Штутгарте, в издательстве «J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH».

К этому следует прибавить вышедшие в свет – соответственно в 1942 и 1943 годах – в дни разгрома вермахта под Сталинградом, две лекции «Учение Платона об истине» и «О сущности истины».

Любопытна амплитуда движения мысли Хайдеггера в этих двух томах. Если, памятуя великое открытие общей теории относительности Эйнштейна об искривлении пространства, приложить её к искривлению духа, то в этих двух томах «Ницшеаны» Хайдеггера удивительно прослеживается

духовная кривая хайдеггеровской философии, ее филистерская подоплека, которой, кстати, страдали почти все крупные немецкие философы, самоуверенно определявшие ход европейской мысли.

В самом деле, основоположник экзистенциализма Кьеркегор считал истинным философом Сократа, который во имя своих принципов выпил яд, в то время как Гегель, дававший указания миру, как себя вести, со спокойной совестью надевал ночной колпак и домашние туфли, направляясь к постели.

Задавшись целью дать исчерпывающую всеохватную картину мировой философии на основе собственного понимания «Бытия» и «Времени» в главной своей книге «Бытие и Время» (1927), Хайдеггер ушел далеко в прошлое, к грекам, которые, по сути, и заложили начала этого феномена любви к мудрствованию – «философии».

Это может показаться несколько примитивным на фоне весьма сложного изложения Хайдеггером своих постулатов, но трудно избавиться от ощущения, что внезапно охватившие массовым психозом германскую массу истерические речи Гитлера, прозвучали «божественным глаголом» в ушах философа, заставив его душу встрепенуться. И он единым махом перескакивает от греков, через Канта, Гегеля, всех европейских философов – к Ницше.

Гениальный разрушитель всех предшествовавших ему философий и вер, дикое дитя, чей стиль афоризмов можно

истолковывать и так и этак, Ницше даже такому крупному философу, как Хайдеггер, кажется в высшей степени подходящим к возникшей злободневной ситуации, которая уже изначально истекает не просто злобой дня, а откровенным всепобеждающим злом.

До Хайдеггера толкователями Ницше были явные посредственности, перетолковывающие его в угоду идее нацистов, уже явственно приближающихся к власти.

Книга «Воля к власти» не была завершена Ницше, а собрана из оставленных им разрозненных фрагментов его сестрой и Питером Гастом и отобранных по их прихоти.

В своей книге "Сестра Ницше и воля к власти: биография Элизабет Фёрстер-Ницше" (вышла в 2003 году на английском языке) автор Кароль Диете пишет, что Гитлер, очевидно, вообще не читал Ницше, но был очарован ставшим знаменитым его выражением – "Воля к власти". В 1938 году, встретившись с Муссолини, он подарил ему копию сочинений Ницше, изданных сестрой Ницше Элизабет. Муссолини все же прочел эти сочинения. Со временем переводчик произведений Ницше на итальянский язык Монтинари, после того, как поработал в архиве и обнаружил вычеркивания и "дополнения" при редакции, написал: "Волосы у меня встали дыбом... Что там еще скрывается в его рукописях по прошествию семидесяти лет, что мы, во Флоренции, не имели возможности узнать?"

"Редакторы", с позволения сказать, как отмечает сам Хай-

деггер, слепили из черновиков Ницше по собственному отбору книгу «Воля к власти», которой, по сути, Хайдеггер с привычной для него дотошностью «вопрошания» и «углубляющего познания» и посвящает свои два этих увесистых тома.

Во всей долгой, «вопрошающей время и бытие» жизни Хайдеггера не было такого резкого приближения к реальности, как время лекций и статей в период с 1936 по 1946 год. В эти годы, когда мир истекал по воле к власти германцев кровью, Хайдеггер жил и дышал, как «пробудившийся орел».

Он не погнушался такие понятия Ницше, как «нигилизм», «вечное возвращение», «сверхчеловек» – возвести на уровень своих сложнейших исследований и доказательств, как бы стараясь не видеть – и это ощутимо между строк – откровенные слабости этих понятий в размышлениях человека, всегда пребывавшего на грани между разумом и безумием. Всеми силами своего незаурядного ума Хайдеггер пытался возвести эти в достаточной степени сомнительные понятия на уровень постулатов, исчерпывающе объясняющих реальность не только Третьего рейха, но и все бытие и время мира, что, по сути, было стократ более опасно, чем потуги издателей и интерпретаторов Ницше.

Имеет ли в виду Хайдеггер цепь возвращающихся кровопролитий, развязываемых его нацией в течение веков, когда велеречиво и не до конца понятно говорит студентам следующее в годы войны:

«Мысль о вечном возвращении того же самого в смысле *метафизико-исторической завершенности* говорит о том же самом, о чем говорит завершающая Новое время «воля к власти» как основная особенность сущности сущего...

Воля к власти есть возвышение над собой, как вхождение в возможность становления *утверждающего повеления*, чье возвышение над собой в сокровенной глубине переходит в постоянство становления, как такового... будучи враждебным и чуждым простому убеганию в бесконечное, противопоставляет себя ему».

Это в определенной степени напоминает противопоставление дурной бесконечности Эвклида – искривления пространства Эйнштейна, геометрически доказанного Миньковским-Лобачевским, когда сама кривизна возвращает бег духа, жалящего самого себя в хвост.

В политике, которая, несомненно, должна быть областью, изучаемой психоаналитиками, такое искривление и замыкание духа на себе самом ведет к гибели.

В литературе и философии всякое гениальное открытие разомкнуто в вечность.

"Вечное возвращение" в германской интерпретации – антисемитизм – извечная изнанка немецкого духа.

По Ницше – каждая философия являет собой не безличную систему мышления, а невольную исповедь.

Выходит, и в исповеди можно быть неискренним.

И это уже входит в категорию циничности последнего и нового века – «Гений и злодейство совместимы».

Однако близится расплата, крах неминуем.

Кривая размышлений Хайдеггера идет вниз, на убыль, колеблется и опять все более удаляется в прошлое, к поэту Гельдерлину и далее – вновь к грекам, главным образом, как и в начале своего пути, к Платону.

В общем, как будто ничего такого особенного не произошло. На уровне высоких размышлений, предположений, за и против, и так далее, в философии такое случалось не раз. В конце концов, всё опять возвращается к дискуссии, отвечает ли философ, как те же Гегель, Ницше, Маркс и примкнувший к ним Хайдеггер за страшные последствия своих концепций.

А дискуссия, при всей своей громкости, дело келейное, отделенное толстыми стенами бытия и времени от грохота пушек, залпов расстрельных команд, пламени крематориев и газа душегубок.

Духовная амплитуда, как о ней дискутируют философы, имеет свои законы.

Но в своем, я бы сказал, великом равнодушии к происшедшему рядом с ним, Хайдеггер переплюнул всех немецких и мировых философов.

## *"Воля к власти как искусство".*

В кратком предисловии Хайдеггер сетует на то, что в «написанном и напечатанном, к сожалению, утрачиваются преимущества устного изложения».

И вправду, не ощущается напряжения воли и даже некоторого экстаза на лицах студентов, завтрашних солдат, от учающего дыхания пафоса в голосе герра профессора. Но зря он сокрушается: этот пафос устного изложения достаточно ощутим в тексте лекции, даже после того, как из него при редактировании были изъяты повторы, паузы и всяческие импровизации.

Окрылённость окружающей аудитории в дни, когда немецкие ястребы рушат Лондон, убивая женщин, детей и стариков, долетает до ушей студентов победоносным «Полётом валькирий» Рихарда Вагнера, именем героя оперы которого «Зигфрид» Гитлер назвал знаменитую линию германских укреплений.

Так искусство в Третьем Рейхе не просто марширует в ногу, а сплетается с искусством войны.

Первая глава книги так и озаглавлена «Воля к власти как искусство».

Эпиграф к книге Хайдеггер берет из Ницше:

«...Я нахожу жизнь... всё более таинственной: с того самого дня, когда сквозь меня прошла великая освободитель-

ница – мысль о том, что жизнь может быть экспериментом познающего». (Весёлая наука. Die froliche Wissenschaft. 1882).

Эксперимент этот вбрасывает людскую массу в трещину, которая ширится в бездну, эксперимент этот несёт не высоты духа, а его ядовитую сущность.

Жизнь есть жизнь, а не эксперимент, который может завершиться взрывом смеси в колбе или реторте волевых изъятий.

Одним из главных стержней, пронизывающих эту тысячу страниц, является разбор, отталкивание, но, главным образом, притяжение к книге Ницше «Воля к власти (“Der Wille zur Macht”)

 – во всяком случае, до возникновения подспудной, за текстом, тревоги, от ощущения, что всё приближается к полному краху.

«Для многих отвлеченное мышление – тягота, для меня же, в добрый час, – праздник и упоение», – столь же упоенно начинает цитировать Ницше лектор, разъясняя, что праздник этот Ницше «мыслит» в «ракурсе воли к власти».

В праздник входят: гордость, задор, развязность, насмешка над всякой серьёзностью и порядочностью; божественное «да» самому себе, сказанное из животной полноты и совершенства...»

«Праздники, – продолжает Хайдеггер мысль Ницше, выдерживая свой особый стиль письма и в устном выражении, – требуют долгой и тщательной подготовки. В этом семестре

мы хотим подготовиться к такому празднику, даже если не достигнем самого торжества и предошутим лишь празднество праздника мысли и постигнем, что есть размышление – каков признак истонного бытия в подлинном вопрошании».

Знаменательны слова Хайдеггера (том 1, стр.106):

«...Из этого указания (Гёльдерлина) мы смутно догадываемся, что по-разному именуемое противоборство дионисийского и аполлонического, священной страсти и трезвого изображения представляет собой сокровенный закон стиля в *историческом предназначении немцев*, и что *однажды* мы должны оказаться готовыми и подготовленными к его оформлению. Эта противоположность – не формула, с помощью которой мы могли бы описывать одну лишь «культуру». Этим противоборством Гёльдерлин и Ницше поставили знак вопроса в задаче, стоящей перед немцами – найти себя в истории. Поймем ли мы этот знак? Ясно одно: история отомстит нам, если мы его не поймем...»

Грешит ли, ловчит против самого себя Хайдеггер, обвиняя учения, «стремящиеся осчастливить мир» – социализм, христианство, – и не просто закрывая глаза на гибельное безумие национал-социализма, а противопоставляя его им как положительную теорию?

Немецкие философы, чьи имена на слуху по сей день – Лейбниц, Шеллинг, Кант, Гегель, Шопенгауэр – отличаются тем, что умеют извлекать «рациональное зерно» один у другого.

И это, несмотря на то, что Шопенгауэр называет Шеллинга «вертопрахом», а Гегеля – «неотесанным шарлатаном».

Но они связаны цепочкой, чтобы подобно крестьянам в поле, сеять «разумное, доброе, вечное».

Не подобна ли эта цепочка, если взглянуть на нее ретроспективно назад, – цепочке слепцов из картины Брейгеля, держащейся за руки и бредущей к пропасти?

Немецкая романтика – со склонностью к самоубийству в духе героя романа Гете «Страдания молодого Вертера» – расширяется в самоубийство нации, возжаждавшей всего мира – Дойчланд юбер алес – и подтолкнувшей весь мир на грань самоубийства. И то, что мир не исчез, можно считать чудом Бога, не пожелавшего гибели своему творению и разрушившего очередную Вавилонскую башню.

Читая бесконечные рассуждения Хайдеггера о власти, «господствующем центре», такие, казалось бы, наукообразные и далекие от реальности, не можешь отделаться от чувства, что всё это диктуется страхом перед Третьим Рейхом.

Удивительно, как откровенная схоластика впрямую психологически, через филистерскую душу философа, читающего лекции студентам, поглядывающим на окна аудитории с неотвязным ощущением, что за окнами бушует война, его, Хайдеггера, рассуждения, связанные с его личным воодушевлением, рожденным страхом, по сути, предают их будущее, предавая их молодые жизни ранней гибели.

И еще более удивительно, как этот выдающийся философ

функционирует в этой двусмысленной ситуации, внушая молодому поколению ура-патриотизм и ощущение интеллектуального превосходства, при этом пребывая в перманентном страхе перед властью. Он не ребёнок, он отлично знает, что такое гестапо, СД, СС. И потому сам в себе возвращает уверенность, что живет в эпоху стремительно «возрастающей» воли к власти.

И вовсе не удивительно, что Хайдеггер, написавший сошедшую ему славу книгу «Бытие и Время», занимавшийся проблемой Бытия и Ничто, их взаимовлиянием и вторжением одного в другое, именно в эти страшные для Европы годы обращается к «Воле к власти» Ницше. В этой книге ему видится ключ к феномену «воли власти», обретающему реальность на глазах в истинно тевтонском исполнении.

Страх ли, восторг ли сопричастия при воплощении этого феномена, обожание ли пророка Ницше покрывает малейшее сомнение, дурное предчувствие, что весь этот триумфально-победный вал «воли к власти» в течение считанных лет (миг истории, кровавый, безумный, беспощадный, но все же – миг), разобьется о стену сопротивления и рухнет в Небытие, в Ничто – не философское, а самое что ни на есть реальное. И останется, по выражению Ницше, «полам обломков».

Цитируя Ницше, Хайдеггер в ослеплении говорит о сверхчеловеке и ничтожности «человечества», сам того не понимая, что предсказывает, вопреки Ницше, обратное: «Цен-

ность есть наивысшее количество власти, которое человек может себе усвоить – человек, а не человечество! Человечество, несомненно, скорее средство, чем цель. Речь идет о типе: человечество просто материал для опыта, огромный излишек неудавшегося: поле обломков».

Dasein – выражение Хайдеггера, означающее сущее в настоящий миг существования, безотносительно от состояния духа и тела. Одно «чистое» сущее.

Рассуждая о сущности сущего и его постижении в цепи поколений, не как о прихоти какого-либо одного философа или их цепочки, а как о «необходимости истории вот-бытия» – Хайдеггер ни на секунду не делает скидки на возможную ошибочность этого пути. А ведь путь этот уже на его глазах превращается в «прокрустово ложе», которое отольется кровью и гибелью сотен миллионов жизней.

Этакая «смертоносная самоуверенность», дорого обошедшаяся миру. Путь всегда опасен тем, что может оказаться тупиком или оборваться пропастью.

Развязывая инстинкты толпы, навязывая ей свою волю, философ или политик уже повязан с этой массой и массовой всегда разрушительной волей к власти над ближним и желанием гибели дальним.

Самое страшное, когда эта разрушительная воля массы стискивается маршеобразными формами и ненависть обретает волю «строя». Тогда гибель структурируется, становится теорией – расовой ли, классовой – и начинает косить в

официальном порядке человеческие жизни вне зависимости от вины или невинности. Скорее всего – невинности.

И навязавший волю, уже не властен над нею и становится убийцей по необходимости, хотя конец его известен «наперед».

Эта слепая, сама себя освобождающая от всяческих уз сдерживания сила, принимается за «волю к власти». Она разворачивается сама собой, параллельно ли, вне зависимости от цепочки бредущих слепцов, развязавших эти узы.

Мысль, как феномен, сама по себе, в своей основе, и есть миф, хотя позже и выставляет себя логосом в противовес мифу. И в течение всего своего существования борется с этой своей основой. Ее влечет соразмерный холод абстракции. И при этом она как бы даже любит запутываться и нередко выдавать ложные постулаты за истину.

Забыв свою родословную, мысль дорого платит за это. Мир ее возникновения ускользнул в забвение, за грань бытия, но продолжает его держать...

В своей погоне за вопрошанием Хайдеггер иногда походит на прилипчивого зануду, не отстающего от цепочки мыслей, которые пускают дымовую завесу, чтобы сбежать от него хотя бы на время.

Хайдеггер видит мир как массу предметов, число и теснота которых все увеличивается, загружает, а вернее, перегружает все пространство.

И все же они погружены в некий свет, некое беспредмет-

ное «озарение», которое и таит в себе истинную сущность мира. И это озарение дает ощущение *ненадежности* всего сущего.

Как же, докопавшись до этого, Хайдеггер пошел на поводу опредмеченности сверх меры нацизма, его техники уничтожения человека, определенного Хайдеггером, как «зияние»?

## *Гиены пера и гигиена творчества*

Неисповедимы, но все же существуют пределы человеческих возможностей. Пытаясь их преодолеть в борьбе с Высшим началом, скажем прямо, Богом, Ницше впал в безумие. Это было физическим спасением, но душа и разум были потеряны.

Эта борьба не менее сильна, чем борьба Иакова с Ангелом. Иаков не впал в безумие, а лишь охромел.

Итак, Ницше в экстазе, он подобен огненному глашатаю, который зажигает массы своими речами, гениальность которых кажется слушающей массе бредом, но, тем не менее, охватывающим ее неистовством.

Он подобен гиене пера, в хищном порыве забывшей начисто о гигиене творчества.

В какой-то миг Ницше внезапно понимает, что не воля к власти, а озверение вырывается из глубины массы, но нет уже хода назад, – созданный им Франкенштейн вырвался на волю, чреватую не властью, а гибелью. Ощувив это, как про-

вал всей его борьбы с миром, с расклеванной печенью, подобно Прометею, он впадает в безумие.

Мир слишком дорого заплатил за гениальные изыски Ницше, открывшего ящик Пандоры вечной человеческой неудовлетворенности и гибельно-слепой ярости масс.

## *Гений и злодейство*

В России под знаменем Маркса, по сути, вершили всё по Ницше, отрециваясь от него как от черта лысого. Начнем со «смерти Бога», разрушения храмов, создания Сверхчеловека в лице недоучки грузина.

Публикация «Воли к власти» на русском языке заново открывает слегка уже затянувшиеся раны прошлого XX-го столетия в одной «отдельно взятой стране», составлявшей в дни разгула государственного терроризма одну шестую часть земного шара.

И все же, при невероятном углублении в Ницше, вплоть до темной непробиваемой стены его безумия, Хайдеггер не мог отрешиться от поверхностной оглядки на собственное время, не замечая или отчаянно желая не оглядываться на его ужасы, ибо в Хайдеггере глубоко гнезвился страх, преодоленный Ницше его впадением в безумие.

Где здесь гнездится грань между страхом, желанием выжить и преступлением?

Гитлер – воплощенное безумие Ницше в его плоском фи-

зическом, истерическом выражении – довел его до физически осуществимого конца – жажды уничтожения человечества, как феномена. И выходит, что сверхчеловек, мыслимый Ницше, по сути, открылся миру как могильщик человечества, в окончательном варианте доказав, что благими намерениями вымощена дорога в ад.

Вот уже более 70 лет мы не можем выбраться из этой бездны, подобной яме для ловли животных, перекрытой лишь охапкой веток и листьев.

# Что позволено быку, не позволено Юпитеру

В рамках дискуссии, а, вернее, многолетнего философского противостояния французских постмодернистов и немецких постхайдеггерианцев, в издательстве "Владимир Даль", в 2007 году вышли два тома намечаемого четырехтомника Жана Бофре «Диалоги с Хайдеггером».

Бофре назначается переводчиком Быстровым «послом Хайдеггера во Франции».

Переводчик пишет: «Всеобщему (и, надо сказать, справедливому) осмеянию подвергаются бездарные попытки дознания, в каких отношениях состоял Хайдеггер с национал-социализмом (особенно забавно наблюдать это в России, где книжные прилавки совсем недавно освободились от печатных выделений партийных философов по поводу очередных съездов)».

К сожалению, стиль этого фрагмента и сам напоминает вовсе не «забавные» разносные статьи, а те самые «печатные выделения» «недавних» лет.

И кто исследовал, является ли «осмеяние бездарных попыток дознания» всеобщим. Слишком серьезна и, по сей день, болезненна тема, чтобы зубоскалить по ее поводу.

И вообще ответственность философа за свои «печатные

выделения» прямо пропорциональна его месту во всемирной философии двадцатого и двадцать первого веков.

«Философы», печатавшие свои «выделения» по поводу очередных съездов» вообще не занимают во всемирной философии никакого места, провалились в Ничто, как и не существовали.

С Хайдеггера, выдающегося философа в ряду великих, спрос иной, счет ему предъявляется по планке Сократа, который не поступился жизнью во имя своих принципов. И ставить его в один ряд с ничтожествами, если пользоваться термином «всеобщее осмеяние», я бы сказал – «большая передержка».

Говорят, «то, что позволено Юпитеру, не позволено быку», но ведь формула работает и в обратную сторону – «то, что позволено быку, не позволено Юпитеру».

Тот же Николай Орбел пишет: «Для меня вопрос о личной ответственности Ницше за Освенцим и Маркса за Гулаг лишен позитивного содержания...»

Пришло время опровергнуть этот тезис в ретроспективе прошедших десятилетий.

### *Стриндберг и Ницше.*

Нордическая тяга к земной не заёмной мистике – без традиционного Бога – по сути, тяга к самоубийству.

Август Стриндберг, имя которого веяло на меня со всех

углов пасмурного Стокгольма, пишет письмо Ницше:

"Вот уже три дня я не могу отвязаться от вашего облика. Я пишу вам в надежде выжать, в конце концов, из моего сознания ваш портрет, чтобы обратиться к более приятным темам, питающим глаз и душу.

Безотрадное это дело началось с того момента, когда я наткнулся на ваше фото в нижней части четвертой страницы моей утренней газеты. Я полагаю, что это, в общем-то, важно, но все же не обязательно выбирать такой способ явления народу.

Боже, какой портрет! Действительно ли вы так выглядите? – Как Мефистофель в любительски ничтожном уличном представлении "Фауста"! Подожду, пока этот портрет сотрется из моей памяти, и только тогда напишу вам снова".

Ницше отмахивается от Стриндберга, считая его склочником по природе, стремящимся раздражать его любыми способами, ибо тот ревнует его к датскому критику еврею Брандесу, способствовавшему мировой славе Ницше. Но дело здесь гораздо глубже и требует исследовать различие германской, средневропейской души, столь расположенной к антисемитизму, и души нордической, хоть и находящейся в психологическом ареале германского характера, и все же не позволившей им породить чудовищную бойню, в которую именно германцы ввергли мир в середине двадцатого века.

Но не стоит забывать норвежца Кнута Гамсуна, восхищавшегося Гитлером и, в отличие от Хайдеггера, поплатившегося

ся за это.

## *Загадка, ключ к которой потерян*

И все же, могли ли это быть последними мысли Ницше перед тем, как он впал в безумие в Турине, увидев ожившую сцену из Достоевского: возницу, избивающего лошадь?

Возникло ли это, как вспышка, или было результатом долгих размышлений, навязываемых ему приближающимся безумием?

Думал ли он о невозможности оставить одежду на берегу реки, как Сакья Муни (Будда), и начать новую истинную свою жизнь на другом берегу?

Всю жизнь Ницше указывал другим дорогу, сам от нее отклоняясь.

Отвергая христианство, говорил устами Христа, ибо воскресни Христос насамом деле, он бы отверг христианство в интерпретации Павла.

Ницше говорил тоже: оставь жену, мать и отца, детей, иди за мной. Но сам не порвал ни с матерью, ни с сестрой, по сути. Мучился любовью к Лу Саломе. Эти три нимфы внесли большой вклад в его трагическую судьбу.

Но, при этом, он не мучился угрызениями совести, что остальные, идущие за ним, более слабые не только психически и физически, но и умом, шли по тропке, протаптываемой им... в бездну.

Учение его было эклектическим вариантом буддизма, который он перенял у Шопенгауэра, придав nirване несвойственную ей активность, перетолковав буддистское отсутствие Бога вне нас в "смерть Бога", и все во имя власти, толкуемой им как свобода за счет других.

Ему мерещилась гибель масс, но он никогда не признавался себе, что гибель их будет в значительной степени по его вине.

Записи его – последние вспышки памяти на пути к тому, чтобы все еще – со все угасающей силой – рваться к свободе – а, по сути, к смерти.

В своей внутренней органике это противопоказано не только физиологии ее творца, но и самому духу Божественного мироздания. Даром это не проходит и неудержимо несет к смерти, и человек, теряя последние силы, в угасающем разуме, уже понимает это, но ничего поделать не может.

Только евреи, открывшие Бога, изобрели нечто, приближенно напоминающее бессмертие. За это они платят высокую цену, но зато обрели умение – устоять в потоке сшибающего всё времени, пережив времена и народы.

Сестра Ницше еще долго паразитировала на его жизни, направляя ее в русло антисемитизма, каким он и предстал XX-му веку.

Мог ли Ницше взять на себя роль ниспровергателя Бога, чтобы стать его поверенным соглядатаем, как подсаживают в камеру того, кто должен разговорить подозреваемого, вой-

ти в доверие, выведать его тайны, заведомо ругая и разоблачая, чтобы вызвать исповедь и проникнуть в истинную запретную тайну величия еврейского Бога, столь опрошенную христианством? Не на этом ли он сломался? Это оказалось для него непосильным.

Является ли генетической память о свободе, как об этом иногда проговаривался Ницше, особенно упорной у евреев?

Именно ли это выделяет и отделяет их от остальных особей мира людей?

Судьба Ницше, как и судьба последних веков, будет еще долго оставаться загадкой, ключ к которой потерян, как и его последние рукописи, и вряд ли будет найден, быть может, по воле самого Ницше не оставляя в покое смертное любопытство людей.

Умение закрепиться в контексте мирового сознания при любом раскладе, по паучьи повиснуть над всеми во всех углах очаровывающей убедительностью, цепкостью клещей, заражающих духовным энцефалитом, отличает "злых гениев" немецкой закваски.

Ни одна теория, идея, проблеск мысли – не могут быть глубинными, если они связаны с насилием и смертью. Каждая точка в этих на первый взгляд невинных теориях подобна отверстию пистолетного дула. И такое плоское мышление сыграло не просто злую шутку, а привело человечество на грань самоуничтожения в середине XX-го века.

Но берясь и борясь с какой-нибудь философской пробле-

мой, подобной "ловушке", отрицая, порицая, нарекая или обрекая, натыкаешься на их мгновенно всплывающие имена.

И бродят, перебираясь с конференций на симпозиумы, с форумов на конгрессы, сотни статистов, уверенные в том, что участвуют в делании Истории.

## *По ту сторону разума*

Ницше в мире безумия соединяет с прошлым слабый, мстами истертый веревочный мостик над пропастью прошлого. Он бы хотел этот мостик, изъеденный постоянным желанием его разрушить, оборвать. Но мостик крепче стальных мостов.

Кажется, стоишь над пропастью в относительной безопасности. На самом же деле из пропасти прошлого тебе не вырваться.

Да, на этой высоте не видно суши и моря – ни Летучего Голландца, ни Вечного Жида.

Но зато совсем близок к тебе Ангел смерти – Самаэль. Только он может оборвать все эти веревки, но он лишь раскачивает мостик, временами весьма сильно. А тонкая жилка жизни на виске продолжает пульсировать.

Иногда в просветах памяти напал на Ницше страх.

Не мстит ли ему Бог, которого он высмеял и унизил, сказав, что у Бога помутился разум. И тот, в отместку лишил его разума, но оставил эти просветы, чтобы Ницше ощутил

отчаянную боль пришедшей в себя души каждый раз на грани надвигающегося нового приступа безумия, провала в "по ту сторону".

Память не подводила, а включалась и выключалась при полном ощущении тела, но стояла, как постоянная угроза за краем разума – черной бездной, подкатывающейся к горлу сигналом полного исчезновения – смерти.

Не мстит ли ему Бог за то, что в домашнем халате, как Гегель в ночном колпаке, он размышлял над судьбами мира, пророча ему всяческие беды под прикрытием ненавистного ему гегелевского изречения "все действительное разумно, и все разумное – действительно"?

Не мстит ли ему Бог, за то, что он коснулся христианства, как касаются ложного корня мира? Ведь стоит убрать все эти виртуальные понятия христианства, и вера эта рухнет в бездну и исчезнет.

И что это – вера Лютера, который всегда говорил о вере, а действовал по инстинкту?

Но как же быть с Ветхим Заветом, этой мощью, которую мог создать лишь Бог. И как быть с тем, что именно евреям это было дано открыть?

Да, казалось, вся их мистика (Каббала) тоже построена на символах и понятиях, и если их убрать, она тоже исчезнет, но ведь не исчезает.

Это подобно математике, где все зиждется на развивающейся цепи абстрактных построений, тем не менее, на этом

построено всё – корабли, поезда, оружие. . .

Правда это или выдумка, но, быть может, он надеялся, что раскрытие тайных уголков его души, жажда излиться, позволит Богу смягчиться над ним, облегчит его участь, выведет из темных накатов безумия.

Через 5 лет (1905) после смерти Ницше Эйнштейн открывает теорию относительности, приближается стремительно эпоха электрона, квантов, математики Миньковского.

В какого Бога верил Эйнштейн?

И все же Ницше не мог отрешиться от черт погубившего его характера, по сути, сделавшего его тем, кем он предстает нам. Не мог преодолеть чересчур выпячиваемую самоиронию, парадоксальность, укрывание под разными личинами, постоянное отрицание того, что им только что утверждалось, мегаломанию, ухмылки, намеки, подмигивания, жестокость, скрываемую за слабым болезненным характером, что уже пахивало истинной дьявольщиной.

Когда мать умерла, а муж сестры Элизабет – клятвенный нацист-антисемит Бернард Фёрстер из-за неудачных дел в Парагвае покончил собой, она вернулась в Наумбург, присматривать за братом. И вообще взяла все его бумаги, книги, рукописи под личный присмотр, и занималась этим до самой своей смерти в 1935 году.

Гитлер сказал на ее похоронах – "Великая жрица великого германского Рейха". Жрица эта делала с текстами брата все, что ей хотелось, чтобы оправдать свое "жречество" в уго-

ду нацизму и ее любимому Гитлеру, переделывать, вычеркивать, переставлять. Так гениальный Ницше превратился в потакателя уголовников, вообразивших себя вершителями мира. Имя его было растоптано и запятнано его же сестрой, и ныне уже нельзя восстановить написанное им, всю эту трагедию и фарс вычеркивания, подделок и умолчаний.

Но из всего этого бедлама его мощная, дьявольская, спорная в каждом своем проявлении фигура притягивает, и будет продолжать притягивать интерес мира, как сложный трагический феномен, выражающий все уродства, слабости и даже преступления своего времени, став проклятым напущением тут же наступившему после его смерти (1900) Двадцатому веку.

Лу Саломе, которую Ницше любил всю жизнь, так же Жорж Санд, идолизировала лишь две вещи – свое искусство и свое тело. Искусство она выражала через свое тело Венеры. Романы Жорж Санд, ни что иное, как обнаженная исповедь ее эротической личности. Она изучила каждый жест и каждое эротическое движение тысячи раз, измерила каждый любовный вздох или стон, зафиксировала их подробно в своих книгах.

Но этот Наполеон любовных спален, изошренная в бесконечных любовных сражениях в нагую между полами, была, по сути, простым рядовым по сравнению с Лу, тонко продуманная скромность в одеждах которой только более подчеркивала ее вожаденные прелести. Острый аромат ее ду-

хов, как и прелести обнаженной Елены, была приглашением к распутству, к мистической оргии Афродиты. Как она, так и Жорж Санд сама вершила над собой суд, но лишь женщина может заменить законы природы и человека и выйти чистой из-под мести богов. Женщины, подобно евреям, никогда не получали статус смертных. Или они – ангелы или бесы, или то и другое вместе. Толкутся на лестнице Иакова между Раем и Адом. Они не выбирают существовать, ибо они и есть – существование, выражая телом своим вечную суть добра и зла. И так как женщина это сила природы, глупо обвинять ее в ущербной нравственности, как глупо обвинять молнию, которая ударила в церковь, подняв на смех Бога.

Аристид был изгнан, когда люди устали называть его «праведником», и люди ослепляют себя человеческой логикой, когда ищут оправдания себе за счет вечной Женщины (вечно женственного), загадки всех времен.

Тяга к порядочности и приличию – иллюзия – фантазия, чему верят редкие женщины. Их непорочность – это достижение мужчины – победа обмана над женской природой.

Но Лу Саломе, воспитанница русской школы нигилизма (Пушкин, Лермонтов, Нечаев), избрала освобождение женщины и оставила за собой сжимающий корсет одежд стадной морали. Потому и тянуло Ницше к ней, ибо она, подобно Аспазии, абсолютно отрицала буржуазную мораль, под которую он пытался подкопаться только в своих книгах. И если потерял в нее веру, то это потому, что потерял веру в себя,

в звезду своей жизни. Но сейчас пришла молитва его Заратустры: «Вы, высшие вселенские силы, дайте мне безумие, чтобы я мог поверить в себя».

Он писал: "Будучи законченным сумасшедшим, я верю в себя твердой верой и привязан к Лу космической несомненностью Иова, весом слов того обезумевшего от горя еврея, который осмелился вступить в спор с Ним и заставить подтвердить спор с человеком. И я, как он, могу сказать с полным сердцем: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал бы только отстоять пути мои пред лицом Его». (Иов).

# Жизнь на кончике языка

Назревавший и ожидаемый прорыв в осмыслении истории и философией бездны войны и уничтожения (Шоа-Гулаг) произошел в 60-е годы, точнее, во Франции 67–68 года, когда весь мир потрясли шесть дней войны Израиля с арабскими странами, завершившейся его ошеломляющей победой. Это были дни и ночи, когда евреи во всех уголках мира внезапно вновь, в который раз, предстали абсолютно беспомощными перед собственной судьбой к радости, раздувающей ноздри антисемитов: «Ну, теперь наконец-то жидам – хана». Не забуду их опавшие, словно из них выпустили воздух, лица, впавшие в прострацию при сообщении о полном разгроме арабских стран.

Это были дни и ночи, когда явно слышалась поступь Истории, ее судьбоносное шествие, восстанавливающее справедливость в море лжи, вливаемой нам в уши и затыкающей нам рты.

На фоне этого исторического потрясения студенческие волнения в Париже выглядели не столь впечатляющими. Тем не менее, они обозначили весьма важный поворот в мировой философии. Именно в те годы вышли в свет книги Жака Деррида «Письмо и различие», «О грамматологии», «Голос и феномен», книга Мишеля Фуко «Слова и вещи», книга Жака Лакана «Письмо», книга «Различие и повторение»

Жиля Делеза.

Внезапно выяснилось, что «созрело» новое поколение мыслителей, родившихся в конце 20-х – начале 30-х годов, встретивших войну в возрасте 10–13 лет.

В пространстве русского языка это течение философии, названное, как это всегда бывает, весьма приблизительно – «постструктурализм» или «постмодернизм», открылось, примерно, через 40 лет. Уже обросшее традицией и ставшее неотменимой частью мировой философской мысли, это течение в русском пространстве обсуждается, как новость, ставится под сомнение или вызывает восторг.

Кажущиеся молодыми, нашими современниками, по сравнению с Ницше, Хайдеггером, Гуссерлем, Левинасом, многие из них уже ушли из жизни, став легендой. Целое созвездие имен неким «большим взрывом» возникло во Франции в 60-е годы, – Жак Деррида, Роллан Барт, Жак Лакан, Жорж Батай, Мишель Фуко, Юлия Кристева, Жиль Делез, Жак Бодрийяр – и каждый требует отдельного разговора.

Но центральной фигурой, своим творчеством стягивающей и анализирующей это созвездие новых философов, в общем-то, своих сверстников, несомненно, является Жак Деррида. Свой метод анализа он назвал «деконструкцией» и этим методом занял уже прочное место в мировой философии.

Этот седой человек с тонкими уверенными чертами лица имел магическое влияние на философию конца прошло-

го века, а для российских философов, освободившихся от остервенелого диктата марксизма-ленинизма, он стал истинным откровением.

В отличие от большинства сверстников, порожденных и породивших студенческие волнения 1968 года, проповедовавших троцкизм и маоизм, Деррида не принадлежал к левым интеллектуалам. Тем не менее, отличаясь бойцовским характером, он сумел в 1981 году провести философский семинар в Праге. Бесчинствующие в Чехословакии тех лет «критики в штатском» арестовали его по обвинению в «изготовлении и распространении наркотиков». Только благодаря резкому вмешательству президента Миттерана он был освобожден.

В период перестройки Деррида провел несколько семинаров по творчеству Вальтера Беньямина и Андре Жида в Московском государственном университете и Академии наук. Успех этих семинаров был ошеломляющим. Любопытно, что «перестройка», комплиментарно преподносимая ему в Москве, как разновидность его «деконструкции», была определена им, как некая утопия, которая приведет лишь к деструкции.

Совсем, казалось бы, недавно, в первый год третьего тысячелетия, Деррида, как влиятельнейший из мыслителей второй половины XX-го века, неисправимый индивидуалист в области мышления и языка, «дикое дитя» (*enfant terrible*) мировой философии, был удостоен одной из самых автори-

тетных европейских премий в области философии – премии Теодора Адорно.

Верилось, что этот молодежавый на вид в свои 74 года человек проживет еще долго. Внезапная его смерть еще раз напомнила о бренности нашего существования.

Жак Деррида родился в 1930 году в еврейской семье, в местечке Эль-Биар, недалеко от города Алжира. В 10 лет он на собственной шкуре познал, что означает принадлежность к этому роду-племени. Правительство Виши предоставило, можно даже сказать, с радостью, право нацистам ввести расистские законы, главным образом, против евреев, во французских колониях.

Популярной на Западе документальной ленте Дика и Ами Кофмана «Деррида», режиссеры пытались придать несколько легкий и даже веселый характер. Однако, герой фильма, понизив голос так, что он едва слышен, как это бывает с евреем, который должен коснуться нелегких, унижительных воспоминаний, связанных с невидимой, но весьма ощутимой «каиновой печатью» на лбу, рассказывает, как его исключили из школы. Учитель сказал: «Идите домой, вам родители все объяснят». Дорога домой превратилась в кошмар. Дети кидали в них камни с криками: «Грязные евреи!»

Но и в еврейской школе он ощущал неловкость и скованность, даже некую чужеродность. И это ощущение галутного еврея нам знакомо. Однако его знакомство с Торой и Талмудом, метафизикой иудаизма, мистикой «Зоара», идеей гря-

дущего мира («Олам аба») и ожидания Мессии, фундаментально отразились в разработанной им в его 40 книгах философской концепции. Именно Деррида способствовал открытию философии Эммануила Левинаса, посвятив ему в первой своей книге «Письмо и различие» обстоятельную работу «Насилие и метафизика. Очерк мысли Эммануила Левинаса», оказавшего на Деррида влияние своими работами, связанными с Торой и Талмудом.

Начиная, как он сам пишет, «пролагание пути», Деррида испытал влияние и Гегеля, и Хайдеггера, но, главным образом, Гуссерля, который с немецкой дотошностью и еврейским упрямством пытался научно выразить, казалось бы, невыразимое, но внутренне осязаемое человеком «чувство времени».

На внешний взгляд единое, неделимое время, равномерно движущееся из прошлого в будущее, при более глубоком взгляде, в человеческом опыте обнаруживает важнейший феномен, отмеченный Гуссерлем как «уже не» и «еще не». Время оказывается расщепленным. Прошлое вовсе не адекватно самому себе и, как в замедленной съемке, с завидной ленцой, вызывающей в душе ностальгию, не торопится вспыхнуть в памяти подобно сиюминутным снимкам. Оно «уже не». В самом же ощущении – «еще не» – фиксировано запаздывание будущего.

Исследователь, обладающий острым аналитическим (деконструирующим) чутьем и еще не подавленный классиче-

ской традицией европейской философии, которая сама, по сути, изнывает под греческим влиянием, внезапно поймет, что в этом феномене замедления прошлого и запаздывания будущего он прикасается к тайне бессмертия священных текстов иудаизма – Торы, Пророков, Писаний, обернувшихся для христианской Европы Ветхим Заветом. К этому можно добавить раввинистские Мидраши и Талмуд.

Более того, этот исследователь поймет, что он, как аналитик («деконструирующий»), самим своим анализом влияет на анализируемое («деконструируемое»). Тем самым он продолжает искусство еврейских мудрецов, в каждом последующем поколении путем толкования, комментария, а, по сути, тоже «деконструкции», прочитывающих заново прошлое, в котором столетия сжаты в несколько строк, и потому делают это уплотненное прошлое еще более медлительным, а запаздывающее будущее более Божественно убедительным.

О влиянии наблюдателя на наблюдаемое, касаясь физических явлений, говорил величайший физик всех времен и старый немецкий еврей Альберт Эйнштейн.

За этими феноменами, где свиток древнего текста словно бы заложен Богом в основание сотворенного Мира, на миг возникает и тут же исчезает тайна самой вечности.

Волей судьбы, времени, событий, после разлома, поставившего этот Мир на грань уничтожения, этим исследователем оказался Жак Деррида.

Он первым подхватил эстафету Левинаса, который пы-

тался восстановить ветвь иудаистской мысли, отрубленную немецкой классической философией, – начиная с Гегеля, – в пользу греческой. Веками гениально возвращаемое духовное равновесие двух начал цивилизации – иудейской и греческой, слепо и, можно сказать, предательски было нарушено немецкой классической философией. Это обрубленное ими, однобокое дерево, в один миг оказалось повисшим всеми своими корнями в воздухе и рухнуло в разлом войны и уничтожения.

Но Левинас, черпающий вечность из священных текстов иудаизма, был также, при всей их критике, учеником Гуссерля и Хайдеггера. Его тоже пленяло живое человеческое начало греческой философии, которое он видел в слиянии с Бесконечным, по сути, Богом Торы. Откровения Торы в соединении с толкованиями Талмуда, виделись ему новым Новым ковчегом спасения в море хаоса на месте разрушенной войной и массовым уничтожением цивилизации.

Ковчег спасения по сей день, подобно Летучему Голландцу, носится на волнах невинной еврейской крови, не имея возможности пристать к берегу даже в Израиле, а цивилизация все еще находится под угрозой.

Изначально плененный феноменом Текста, Божественного свитка, несущего тайну устойчивости Мира, чьи несущие колонны прорастают сквозь тысячелетия, Деррида видит основу этой тайны – в письме.

Русским символистам жизнь виделась как проживание

Текста. Текст по их пониманию опережал реальность, потому им, особенно Андрею Белому, близка была еврейская мистика. Федерико Феллини говорил: «Всякое истинное понимание языка и речи предполагает существование Бога, Его реальное присутствие». А Тони Хент говорил Бродскому: «Не кажется ли вам, Иосиф, что наш труд – это, в конечном счете, элементарное желание толковать Библию?» Русский символизм тайным путями времени был связан европейским и первым делом с французским авангардом.

Деррида, различивший (кстати, любимые понятия Деррида – «различение» и «различание») свою звезду в феномене письма, был особенно увлечен творчеством поэта Малларме с его пристрастием к игре слов, синонимам, метафорам, аллитерациям, всем этим блистательным тайнам, извлекаемым из языка и письменно фиксируемым в поэзии и прозе.

Благодаря этим смещениям Деррида занимал особое положение в европейской философии конца прошлого века. Он как бы одновременно принадлежал и был отчужденным от еврейской общины, принадлежал к академическому обществу и был в нем аутсайдером. Именно потому толкуемые им в современном ключе идеи иудаизма, каббалистическое видение мира, особенно раввинистские и талмудические тексты широко внедрились в светские научные круги, вне пределов факультетов иудаики, обрели новое философское толкование. В США его идеи привели к изучению Мидрашей, к применению способов комментариев в них к лите-

ратуре и лингвистике.

Подвижность, гибкость, многозначность, с множеством скрытых подтекстов, библейского, по сути, объемлющего весь духовный мир Текста, его податливость и неисчерпаемая возможность для толкований на разных уровнях, наконец, секрет его бессмертия, – всё это послужило основанием, на котором заложил и из которого развил свою концепцию Жак Деррида.

Его «деконструкция» вообще поставила под сомнение понятие завершенного или совершенного текста. Если священные тексты Моисеевых Книг и Книг пророков могут быть подвержены деконструкции, так что уж говорить о самых, казалось бы, совершенных текстах литературы или философии.

За исключением Книги Книг все древние тексты подобны песчаному обнажению берега после отлива.

По Тексту Деррида выверяет все вводимые им новые понятия. Например, казалось бы, научнообразное понятие «исторического смещения», несет в себе длящуюся через тысячелетия трагедию: с места сгоняют уже осознавший себя и избранный Богом народ. Для евреев это явилась судьбой. Но спасением их, неким подобием Ноева ковчега, явилась Книга Книга, свиток, письмо.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.